

ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ. ГИПОТЕЗЫ

УДК 821.161.1 (Шолохов М.) ББК Ш5(2Рос=Рус)6-4

Н. Л. Лейдерман,
М. Н. Липовецкий
 Боулдер, США

«В ГОДИНУ СМУТЫ...»: РОМАН М. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»

Аннотация. Публикация представляет собой опыт целостного осмысления романа М. Шолохова «Тихий Дон», начиная с истории создания, судьбы произведения, проблемы авторства. Также в центре внимания ученых жанровое своеобразие романа, художественный мир и ведущая проблематика произведения. обстоятельно исследуется образ главного героя Григория Мелехова, его характер и судьба в контексте глобальных исторических испытаний.

Ключевые слова: Шолохов, «Тихий Дон», роман, казачий мир, история, романский герой.

N. L. Leiderman,
M. N. Lipovetsky
 Boulder, USA

THE TROUBLOUS TIMES: SHOLOKHOV'S NOVEL "TIKHII DON"

Abstract. The publication is a holistic understanding of the experience of Mikhail Sholokhov's novel "And Quiet Flows the Don", starting with the history of creation, the fate of the text, the problem the authorship. Also in the center of attention of scientists originality of the novel genre, the art world and the leading issues of the text. Thoroughly studied the image of the Grigoriy Melekhov, his character and fate in the context of global history events.

Keywords: Sholokhov, "Tikhii Don", novel, Cossack world, history, novelistic character.

Проблема авторства, история публикации

Вопрос об авторстве «Тихого Дона», в особенности, его первых двух книг, обсуждался с момента публикации романа Михаилом Шолоховым (1905–1984). Когда роман начал печататься в журнале «Октябрь» в 1927-м году, Шолохову шел 23-й год. Первый и второй том вышли книжными изданиями в 1928–1929 гг., третий – в 1929, а затем в 1932–1933 гг., а четвертый – закончен в 1940 г. и тогда же опубликован «Роман-газетой». Несмотря на огромную литературу по теме, уступающую по объему разве что литературе по «шекспировскому вопросу», проблема авторства «Тихого Дона» остается неразрешенной и поныне.

С одной стороны, вызывает сомнения подробность и глубина описания Первой мировой войны, выдающая опыт участника событий, кем Шолохов, конечно, не мог быть по возрасту. Бросается в глаза художественная разнородность материала, вошедшего в роман. По-разному, но ошутимо отличаются от общего стиля повествования линии героев-большевиков – Штокмана и Бунчука; дневник некоего Тимофея об отношениях с Елизаветой Моховой, найденный на теле убитого автора; главы, изображающие Петроград летом 1917 года и штаб Корнилова и Каледина на Дону. С другой стороны, и предположения об альтернативных кандидатах на авторство «Тихого Дона» – Федора Крюкова, И. Родионова, А. Серафимович, В. Краснушкина и др. – также вызывают резонные сомнения.¹

Однако, несомненно одно: разнородность материала, вошедшего в роман, привела к появлению одного из самых значительных явлений русской реалистической прозы XX века. Причем, именно присутствие нескольких авторских точек зрения, далеко не всегда сведенных к «общему знаменателю» (отсюда многие противоречия романа, о которых пишут «антишолоховеды»), порождает подлинно *полифонический* эффект, отсутствующий в других произведениях Шолохова, и уникальный для советской литературы 1920–30-х годов. Кроме того, очевидно и то, что Шолохов является одним из авторов этого великого романа – само то обстоятельство, что третий том отделен от публикации первых двух четырьмя годами, а четвертый еще четырьмя не объясняется только цензурными сложностями, а свидетельствует о длительной работе.

Шолохов родился в 1905 году на хуторе Кружилин станицы Вешенской. Мать была дочерью крепостного («иногородней», по казачьей терминологии), а отец происходил из семьи зажиточных казаков. Михаил родился, когда его родители не были обвенчаны, ютились на окраине станицы, и самого

¹ Среди наиболее важных публикаций по вопросу авторства «Тихого Дона» назовем следующие: *D** (Медведева-Томашевская И.Н.). Стремя «Тихого Дона». – Paris: YMCA-PRESS, 1974; «Тихий Дон»: Загадки мнимые и реальные (статьи Р. Мед-

ведева, Г. Ермолаева, С. Семанова) // Вопросы литературы. 1989. № 8; Загадки и тайны «Тихого Дона». – Самара: Р.С. Пресс, 1996; *Ермолаев Г.С.* Михаил Шолохов и его творчество / пер. с англ. Н. Т. Кузнецовой и В. А. Кондратенко. – СПб.: Акад. проект, 2000; *Макаровы С. и А.* Цветок-Татарник. – М.: АИРО-XX, 2001; *Кузнецов Ф.* «Тихий Дон»: Судьба и правда великого романа. – М.: ИМЛИ РАН, 2005; *Бар-Селла Зеев.* Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». – М.: РГГУ, 2005. *Венков А.. В.* «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. – М.: АИРО-XXI, 2011. См. также: *Шолохов М.* «Тихий Дон»: Динамическая транскрипция рукописи / под ред. Г. Н. Воронцова, Н. В. Корниенко, И. П. Казаковой, Е. А. Тюриной. – М.: ИМЛИ РАН, 2011.

Шолохова в детстве называли «нахаленком». Еще до школы он научился читать. В 7 лет пошел в начальное училище, где проучился четыре года, но учебу прервала Первая мировая война и последовавшая за ней революция.

В 15 лет Шолохов работал учителем по ликвидации неграмотности, затем – служащим станичного совета, преподает в начальной школе, а с весны 1922, окончив в Ростове подготовительные курсы – налоговым инспектором станицы Букановская, командует продотрядом в 270 человек, ведет продразверстку. В июне он докладывал начальству: «В настоящее время смертность на почве голода по станицам и хуторам, особенно пораженным прошлогодним недородом, доходит до колоссальных размеров». Эта работа продолжалась недолго – за превышение власти Шолохова приговорили к расстрелу, но потом заменили на условное тюремное заключение.

В литературу Шолохов пришел через занятия в драмкружках. В 1918 году он писал и ставил для красноармейцев небольшие сценки. В октябре 1922 года переехал в Москву. Трудился мойщиком мостовых, грузчиком, счетоводом, с 1924 посещал литературный кружок А. Серафимовича. В начале 1926-го г. вышел его сборник «Донские рассказы», а вскоре второй – «Лазоревая степь».

Публикации «Тихого Дона» в 1928-м году сопутствовал шквал критики. Против романа выступили практически все литературно-критические группы тех лет: и лефовцы, и перевальцы, и лидеры РАППа. Только Горький отметил по прочтении: «Шолохов, судя по первому тому, очень талантлив... Очень, анафемски талантлива Русь» [Осипов 1995: 22]. Когда вышла третья книга романа, посвященная Верхне-Донскому восстанию против Советской власти, противники обвинили Шолохова в пропаганде контрреволюции. Одновременно прямо обсуждалась возможность плагиата, был даже устроен «суд чести» над Шолоховым – однако, за него вступился РАПП (комиссия в лице А. Серафимовича, А. Фадеева, Л. Авербаха, В. Киршона опубликовала свой вердикт в «Правде»).

Публикация третьей книги, начатая в «Октябре» в 1929-м году, была прервана (было опубликовано 12 глав). «Возможно, в начале 1929 года у Шолохова не было достаточного количества готовых к печати рукописей, чтобы продолжить публикацию в журнале», – отмечает Г. Ермолаев [Ермолаев 2003: 304]. Однако, в конце 1929-го – начале 1930-го редакция журнала «передумала» печатать «Тихий Дон» как «белогвардейскую книгу». И хотя, как пишет тот же исследователь, «Шолохову удалось издать 13 из новых глав романа в течение лета 1930 года в журналах “Красная Нива”, “Огонек”, “На подьеме”, “Тридцать дней” и в небольшой книжке “Девятнадцатая година”» [Ермолаев 2003: 305], в целом третья книга оставалась под негласным запретом.

Горький, сочувствовавший молодому писателю, устроил Шолохову встречу со Сталиным в июле 1931 года. В 1932 году Шолохов вступил в ВКП (б). Еще в марте 1930 года его назначили чрезвычайным уполномоченным по вопросам коллективизации в

Вёшенском районе. Он писал многочисленные ходатайства и письма за своих земляков, о пытках, избиениях, надругательствах над крестьянским добром. «Район идет к катастрофе», – с горечью заключал он в письме П. Луговому (май 1933). Правда, в 1932-м году Шолохов выпустил первый том «Поднятой целины», прославлявший коллективизацию – по-видимому, такую цену Шолохову пришлось уплатить за возможность опубликовать последние две книги «Тихого Дона». Об этом свидетельствует тот факт, что публикация третьей книге была завершена в «Октябре» одновременно с публикацией «Поднятой целины» в «Новом мире».

Еще до публикации последней, четвертой книги «Тихого Дона», осенью 1937 года Ежов выписывал ордер на арест самого Шолохова [Илюкович 1992: 370-373]. Однако, спасает его вмешательство Сталина, личной встречи с которым Шолохов добился в 1938-м году. С самого начала войны Шолохов работал фронтовым корреспондентом. Летом 1942 года приезжал в Вешенскую, чтобы увезти семью от стоящего на правом берегу Днепра врага. Во дворе упала бомба, погибла мать, сгорел дом с рукописями.

По-видимому, последний кризис Шолохов преодолеть не смог. Он с трудом возвращался к перу, за 15 лет восстановил погибшую рукопись второй части «Поднятой целины». Роман «Они сражались за Родину» так и остался неоконченным. Он прожил еще много лет, занимая крайне ортодоксальную позицию в литературно-политических баталиях (так, он «прославился» своим выступлением против Синявского и Даниэля); по свидетельству Н. Митрохина, он играл роль одного из «гуру» неофициальной Русской партии в 1960–70-е годы [Митрохин 2003]. В 1965-м году Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы с формулировкой «за художественную цельность и силу с которой его Донской эпос выразил историческую фазу в жизни русского народа» – иными словами, Нобелевскую премию получил именно «Тихий Дон».

Жанровая природа

Говоря о жанровой природе «Тихого Дона», исследователи убедительно связывают роман с традициями «Войны и мира». «Тихий Дон» даже называют «эпосом толстовского типа». Необходимо, однако, наполнить эту формулу конкретным содержанием. По Толстому, смысл его романа-эпопеи состоял в следующем: «Мысли мои о границах свободы и зависимости и мой взгляд на историю не случайный парадокс, который на минуту занял меня. Мысли эти – плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть того миро-созерцания, которое бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье моей книги» [Толстой 1964]. Здесь Толстой невольно называет главный конфликт романа-эпопеи. Это всегда произведение о том, как человек видит себя в бытии, как он пытается разрешить мучительное противоречие между естественным стремлением к безграничному свободному развитию своей индивидуальности, своего человеческого «я», полной реализацией

своей сущности в окружении и в зависимости от многомерных и разносторонних условий, из которых соткана жизнь, из которых соткано бытие.

Поэтому во всех романах-эпопеях можно найти взаимодействие и синтез иных романских форм: проблема свободы и зависимости как бы исследуется на разных уровнях человеческого бытия. В этой жанровой форме обязательно будут присутствовать и элементы семейно-бытового романа (среда, в которой живет человек), и психологического романа (человек и его душа, пытающаяся найти контакт с миром), всегда будут и черты исторической хроники с соотношением происходящего и больших государственных процессов, и обязательно – будут включены компоненты романа философского.

Во всех романах-эпопеях, написанных до «Тихого Дона» или рядом с ним, проблема поиска свободы индивидуальной самореализации связана с отношением между личностью и народом. Даже в «Войне и мире» где практически нет образа народа, ведущую роль играет «мысль народная». Это не столько мысль народа, сколько мысль о народе. По Толстому получается, что те люди, которые ищут себя в бытии, лишь тогда обретают духовное равновесие, осознавая правоту своего пути, когда начинают жить в соответствии с теми стихийными законами, по которым живет народ.

Такое решение в принципе несовместимо с художественной философией «Тихого Дона». В этом произведении проблемы личности и народа нет. Поэтому что в процессе мучительного эпического поиска находится *сам народ*. Именно народ, ярче всего представленный Григорием Мелеховым, в свою очередь, окруженным многими сотнями персонажей, ищет себя в истории, пытаясь определить приемлемые, совместимые со сложившимися нравственными понятиями («по совести») представления о «границах свободы и зависимости». В образе Григория Мелехова у Шолохова показано, как сам народ, прочно укоренный в природном бытии, ищет себя в *истории*. Ищет и – *не находит*.

По мнению Е. Тамарченко, «“Тихий Дон” дает целый спектр народных представлений о смысле существования – именно ими не в последнюю очередь создается полифонический эффект. Шолохов как бы восходит по ступеням, придающим жизни человека оправданность: природа и ее правда, частная правда и правда имени человека, христианская правда-нравственность и, наконец, некое особое представление о бытии – “человечья правда”. Эта правда-справедливость как минимум земной человеческой справедливости. Соблюдать ее следует не ради славы – столь минимальная справедливость с высокой правдой не связана – и не из-за чисто внутренних побуждений (хотя они и в таком случае никак не исключены). Преступающий эту правду нарушает равновесие мира. Это представление о законе, объемлющем равно и природный, и человеческий мир. Мировая гармония согласно народным воззрениям включает в себя войну, но и на войне безоглядное своеволие, затрагивающее последнюю справедливость, нарушает основы жизни и непостижимым образом наказуемо» [Тамарченко 1990: 240].

Перефразируя Толстого, можно сказать, что в «Тихом Доне» сам народ обдумывает «мысль историческую», проверяя совместимость обступающих со всех сторон и несовместимых друг с другом идейных «правд» с «правдой-справедливостью», укорененной в повседневном, освященном традициями, быту. Причем, обдумывание это не рационалистически-абстрактное, а эмоционально-деятельное, где любые заблуждения оплачиваются горами трупов, морями крови и страшными травмами на сердцах тех, кому удалось выжить. То, что эта «мысль историческая» развивается во время громадных исторических катастроф – Первой мировой войны, революции, гражданской войны, большевистского террора, казачьего восстания против большевиков – придает ей особый, эпический драматизм. Каждый поворот истории, каждая идеология (государственническая, большевистская, либеральная, автономистская) проверяется *эмоциональными* реакциями, прежде всего, Григория; и – еще в большей степени, теми событиями, которые порождает торжество той или иной идеологии.

Традиционная идея имперской государственности компрометируется ужасами мировой войны. Либеральная идея подрывается хаосом Петрограда лета 1917 года, позднее трагическим самоубийством генерала Каледина, а затем, возвращением дореволюционного неравенства после соединения восставших казаков с белыми частями. Мечта о казачьей автономии от «большой России» оборачивается тупиком, в который заходит Верхне-Донское восстание.

Не случайно многие ключевые сцены романа поставлены в соотношении параллелизма – «рифмы» между, казалось бы, отдаленными эпизодами, указывают на мнимость идеологических альтернатив, на однородность их кровавых реализаций. Если большевики-подтелковцы палачески уничтожают офицерский отряд Чернецова, а красные казаки во главе с Мишкой Кошевым убивают одностаничников Петра Мелехова со-товарищи и расстреливают якобы контрреволюционно настроенных казаков; то восставшие казаки вешают Подтелкова и его отряд, насмерть забивают красноармейцев (причем, забивают именно женщины и старики), показательно отказавшись от расстрелов, рубят в куски попавших к ним в руки пленных, сажают в темную жен и стариков из «иногородних» семей, чьи мужчины примкнули к красным и т.п. Все так же, как в Первую мировую, уставшие от войны казаки оставляют фронт белых – сначала в 1918-м, потом, после Верхне-Донского восстания, в 1919-м...

Аналогичным образом гнев Григория против социального унижения в лечебнице Снегирева во время Первой мировой войны и еще раньше, на довоенном плацу, куда молодые казаки приходят со своим конем и амуницией, и пристав брезгливо одергивает руку, едва соприкоснувшись с намоленной рукой Григория, резонирует со сценами в четвертом томе. В первые годы воинской службы, Григорий чувствует между собой и офицерами «неперелазную невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь,

без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой» (1, 233)². Но это чувство возвращается, когда восставшие против красных казаки соединяются с белыми. Григорий, ставший командиром повстанческой дивизии, в сердцах восклицает: «Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как по паду в офицерское общество – так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня поперет, что аж всей спиной его чую! – Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос» (2, 478). Первую мировую и гражданскую «рифмами» стягивают сцены с убитой и, возможно, изнасилованной, красавицей; с солдатом, сошедшим с ума... Все эти повторы свидетельствуют о тщетности попыток изменить строй жизни посредством насилия.

Контрапунктом к этому ряду «эпических повторов» возникают в романе сцены природы, постоянно движущейся по одному и тому же циклу, но всегда неповторимо новой и живой. Так внутри картины исторической катастрофы, изображенной «Тихим Доном», прорастает философская диалектика насилия над людьми и гармонии с природой. Эта диалектика глубоко укоренена в том, как автор романа понимает существо казачества и казацкого мира в целом.

Казацкий мир: гармония с природой и насилие между людьми

Казацкий мир, любовно описанный в первой части книги, живет в единстве с природой и по логике природных циклов, определяющих повседневный быт станичников. С. Семенова в книге «Мир прозы Михаила Шолохова» (2005) подробно анализирует, как внутренний мир героев всегда «оплотнен» в телесных образах, экспрессивных жестах и реакциях; как жизнь персонажей либо вписан в природный контекст, что поддерживается параллелизмами, либо находится в сложных диалогических отношениях с образами природы: «Действие “Тихого Дона” неизменно вдвинуто в ту или природную рамку... Эти два потока жизни, людской и природной, параллельны, но их какая-то соотношенность для человека, для наблюдателя здесь несомненна. В романе отчетливы права фольклорной традиции соотвественности природы внутреннему состоянию человека, когда она на своем языке как бы являет образ этого состояния (...) Но наряду с принципом соответствия, по которому строится взаимоотношения человека и природы (уходящим в фольклорное видение мира), в «Тихом Доне» широко представлен и обратный прием: *контраста*, который чаще всего несет в себе более философское, оценочное значение» [Семенова 2005: 110, 114].

Природный мир, по существу, является, самостоятельным персонажем, с которым не только автор, но и герои «Тихого Дона» то неосознанно, то сознательно соотносят переживаемое ими. Происходит это по-разному. Вот Наталья покушается на

самоубийство – и читатель еще не знает, останется ли она живой, но автор завершает главу ликующей сценой весеннего половодья: «На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах саженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю» (1, 196). Вот Мишка Кошевой как единственный кормилец освобожден от наказания за сотрудничество с красными и сослан ходить с табуном, и эти пару месяцев в степи – пускай временно – очищают его душу от всего страшного, что оставила в ней война: «За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и нелюдскому благородству. На его глазах покрывались матки; и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольню рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей» (2, 59). Но завершает этот эпизод сцена, когда Мишка чудом спасается от несущихся на него лошадей, испуганных грозой – что явно предвосхищает дальнейшие трагические события романа, в которых Кошевой, вопреки всему, останется жив.

А вот как автор романа начинает главу о власти красных над Донскими станицами – здесь пейзаж становится развернутой метафорой состояния общества:

Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сровняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернойбыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клекот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна.

Но под снегом все же живет степь. Там, где как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заброшенная с осени земля, – там, вцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. (...)

Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани (2, 135–136).

В природный мир прочно вписана и эротическая сторона жизни героев. Это видно не только в изображении любви Григория и Аксиньи, со знаменитым: «У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки – так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, – путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел» (1, 47). Но и когда Наталья рождает двойню, повествователь не забывает добавить: «Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к Михайлову дню овцы окотили по двойне, козы... Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собой рассуждал: “Счастливей ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплуду у нас... ого-го!”» (1, 429)

² Цитаты из романа с указанием тома и страниц приводятся по следующему изданию: Шолохов М. Тихий Дон: в 2 т. – М., 1964.

Но самая важная связь казаков с природой осуществляется через цикл крестьянского труда, где одно следует за другим – дежурка луга и покос, жито, пшеница, зимняя подготовка к весне, постоянное присутствие скотины, зимой живущей в теплом доме, уход за конями, пашня... В этот цикл вписаны и сватовство, и свадьбы, и отправка парней на военную службу, и воинские лагеря для отслуживших казаков, и рождение детей, и похороны. Все это *семейные* дела, и именно в них наиболее четко видны традиции и нравственные порядки, организующие казацкую жизнь, основанную на уважении к вольному труду и чувству хозяйской ответственности за всю большую семью и все, что ей принадлежит, до последней жердины. Так, в первой книге «Тихого Дона» *родовая жизнь* нераздельно соединяет воедино природную логику и нравственную традицию.

С природой и простором, с щедростью Дона и богатством земли («Земли у нас – хоть заглонишься ею» – говорит Григорий) эмоционально сращена в романе тема казацкой вольности, свободы, понимаемой как основа коллективной идентичности. Демократия казацкого круга с выборными атаманами поддерживает острое чувство отдельности, обособленности от «русских», от «мужиков», от живущих на Дону «иногородних». Кроме того, казаки сызмалу готовятся к военной службе, и воинские иерархии накладываются на крестьянскую жизнь – все знают, кто «орудийцы», а кто «атаманцы»; и своенравный Пантелей Прокофьевич уже не может прикрикнуть на своего «младшенького», раз тот превзошел отца в воинском звании. Все это в совокупности порождает настроенное отношение ко всему «неказацкому», часто проявляющееся в *насильи* к тому, что выходит за пределы казацкого мира.

Мотив насилия появляется в «Тихого Дона» с самых первых страниц.

В первых главах коротко дана предыстория мелеховского рода. Отец Пантелеймона Прокофьевича привез турчанку в жены, и ту потом до смерти забили станичные бабы, заподозрив, что она – ведьмачка, ворующая у них мужчин и наводящая порчу на скот: «Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолчим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть» (1, 9). В начале первого тома изображается и «традиционная» массовая драка на мельнице, где казаки насмерть бьются с «иногородними». Несколькими страницами позже повествователь добавляет: «Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что “хохол”; а раз “хохол” – надо бить. Не одно столетие назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев – русских, украинцев» (1, 134). Воинская служба, обязательная для казаков, парадоксально и соответствует, и противостоит этой логике. С одной стороны, на службе казаки с готовностью усмиряют «чужаков» – будь то иноземцы, или бунтующие «русские», «мужики». С другой, сама эта служба понимается как форма «канализации» насилия из

казацкого мира: «Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездут...» (1, 90).

Однако, насилие проникает и в отношения между «своими». Не случайно там же, в самом начале романа, рассказано, как пьяный отец изнасиловал пятнадцатилетнюю Аксинью. После чего мать и старший брат Аксиньи избили его до смерти: «Людым сказали, что пьяный упал с арбы и убился» (1, 37). А после, Степан, узнав, что жена досталась ему не девушкой, вновь бьет ее «обдуманно и страшно. Бил в живот, в груди, в спину, бил с таким расчетом, чтоб не видно было людям» (1, 38). Ближе к концу романа Ильинична вспоминает, как жестоко избивал ее, молодую, Пантелей Прокофьевич: «А меня идол мой хромоногий смолоту до смерти убивал, да ни за что ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. Сам паскудничал, а на мне зло срывал. Придет, бывало, на заре, закричу горькими слезьми, попрекну его, ну он и даст кулакам волю... По месяцу вся синяя, как железо, ходила, а ить выжила же, и детей воскормила, и из дому ни разу не счиналась уходить» (2, 544).

Однако, даже насилие на войне ограничено для большинства казаков (садисты, вроде Чубатого и Митьки Коршунова, не в счет) определенными нравственными правилами. Так, отправляющиеся на фронт казаки переписывают молитвы и заговоры от смерти и ран, а старые казаки учат молодых: «Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь – голову потеряешь али рану получишь, пося сподобишься, да поздно» (1, 256). Насилие внутри семьи, да и против «своих» казаков тоже ограничено – если не законом, то *стыдом перед людьми*.

Все эти ограничения рушатся, когда Мировая война на долгих четыре года отрывает казаков от родного мира и крестьянского труда и когда вслед за ней начинается гражданская война, которую автор «Тихого Дна» рисует прежде всего как страшное безбрежное насилие «своих» над «своими», как массовое братоубийство. Но и в этой атмосфере коллективного озверения то и дело возникают напоминания о нравственных нормах, неизменно основанных на гармонических отношениях с природой, на традициях «родовой жизни». Так, второй том романа завершается тем, что на могиле Валета, убитого своими «братьями-казаками», какой-то старик поставил часовню с надписью:

*В годину смуты и разврата
Не осудите братья брата.*

Старик уехал, а в степи осталась часовня горючить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще – в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-пыльни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцевое оперенным крылом (1, 740–741).

А Пантелей Прокофьевич не пускает на двор Митьку Коршунова, палачески убившего – в отместку за зверства Кошевого над его семьей – мать Мишки и всю его родню. Брату Натальи старик Мелехов говорит: «Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! – решительно повторил старик. – И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!» (2, 510).

Испытание историей – испытания исторических сил

Мировая война и последовавшие (вызванные ею!) революция и гражданская война написаны в «Тихом Доне» как внешняя, чуждая и непонятная казакам (казалось бы, профессиональным воинам) сила *исторической катастрофы*. Война вбрасывает героев романа в антимир смерти и беспрецедентного по масштабам насилия, вызывая озверение и приводя к упадку традиционный казачий мир.

Существенно, что все силы, которые борются между собой в художественном мире «Тихого Дона», руководствуются самыми благородными побуждениями: каждый ищет свою правду о мире, и каждый пытается ее добыть, реализовать, воплотить каким угодно способом. В обрисовке людей, стоящих по разную сторону баррикад, интересен такой полемический парадокс Шолохова, его спор со сложившейся классовой доктриной: люди «старого мира», которые видят спасение России в сбережении ее вековых устоев, изображаются им с искренней симпатией. Белогвардейские генералы Корнилов, Алексеев, Деникин показаны как люди преданные идее, всекопорядочные. Каледин назван в романе «человеком кристальной честности», об Алексееве сказано «умница Алексеев», о Корнилове – «героическая личность», Деникина мы видим как человека, способного объединить всю разрозненные силы российских войск. Краснов отказывается наступать на Царицын, потому что не может бросить доверившихся ему казаков. Самоубийство генерала Каледина в романе изображено как трагический акт. Он видит, что его Дон гибнет, что его не поддерживают казаки, уставшие воевать и поддавшиеся на демагогию Советов, и не позволяет себе жить в новом мире. Даже противоречивая фигура Евгения Листницкого вызывает уважение, – он человек, которому дорога идея дворянской Руси, идеалы офицерской чести. Он готов погибнуть, но сохранить благородство и высокие традиции офицерства.

А вот люди «нового мира», те, кто хочет утвердить большевистскую идею, показаны у Шолохова весьма неоднозначно. Это фанатики идеи классового равенства – что в советской литературе предполагало однозначно патетическую тональность. Однако, показательно, что при их появлении в романе стиль резко меняется, впадая в плоскую идеологическую заданность (о чем писали еще критики 1920-х гг.³). К примеру:

³ «Мёртвость большевикско-благонамеренных “типов” и жизненность, любовное изображение “типов контрреволюционных”, а также воздаяние должного личной нравственной чистоте Каледина, Корнилова, Алексеева вызвали бурю в советской кри-

«Доступно и зло безвестный автор высмеивал скучную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царевой властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники» (1, 148).

Или о Гаранже, большевике, с которым Григорий встречается в госпитале:

Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. (...) В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи (1, 362).

А вот речь Бунчука (до того зачитывавшего вслух статью Ленина):

Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело – расти, расширять свое влияние, работать не покладая рук над разъяснением истинных причин войны (1, 394).

Вместе с тем, как показала С. Семенова, сами метафоры, которые автор использует, описывая большевиков, выдают его неприязнь: «остренький взгляд узко сведенных глаз» Штокмана, глаза-картечины Подтелкова, «черноволосые, как у коршуна когтистые, руки» Бунчука. Эта неприязнь подтверждается тем, что все большевики оказываются людьми догматичными, глухими к доводам, выходящим за пределы их идеологических доктрин, к тому же, часто упивающимися жестокостью, как Мишка Кошевой, не только расстрелявший Петра Мелехова, но и убивший столетнего деда Гришаку и спаливший весь дом Коршуновых, просто так, для демонстрации «красной правды». Но даже Бунчук, кажется, не склонный к садизму, походя оправдывает террор против всех, кто «не с нами»:

Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

– Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К черту! Сгрести с земли эту нечисть! И вообще – без сантиментов, раз дело идет об участии революции. Правы они, эти рабочие! (1, 581).

Идеологический догматизм, становящийся оправданием террора, приравнивается в романе к коллективному безумию. Не случайно в стык к этой сцене автор показывает Бунчука, впадающим в тифозный бред. И хотя тиф приходит к Бунчуку через неделю после сцены на товарной станции, связь между этими эпизодами несомненна:

тике и множество недоумений по поводу нового пролетарского писателя» [Фельзен 1930: 239].

Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбится, рвется из-под ног (1, 580).

Бунчук, большевик, еще в окопах Первой мировой войны ведет агитацию за ее мирное прекращение. Он бежит с фронта, и его пацифизм вызывает к себе симпатию. Но когда он в 1917-м году арестовывает Калмыкова, своего антагониста по окопной жизни, а тот ругает его как предателя офицерской чести, Бунчук бьет его, безоружного, сапогами по голове, а затем расстреливает. Он уверен в своем праве («классовый инстинкт») решать, кому жить, а кому умирать, и в этом нет ему оправдания. После того, как он месяцами работает в Ростовском ЧК, расстреливая всех подозрительных, он оказывается неспособен удовлетворить любимую женщину, и признается: «Да, выгорел дотла...» (1, 669). И хотя после этого эпизода, Бунчуку удается «реабилитироваться» в отношениях с Анной, у их любви нет будущего – Анна погибает в бою, а окончательно опустошенный Бунчук отправляется в агитационно-мобилизационную экспедицию Подтелкова, чтобы погибнуть вместе с ней.

Нет оправдания и Подтелкову. Именно по его команде совершается в романе рубка безоружных пленных, молоденьких, «безбородых» офицеров. Начинает эту рубку сам Подтелков, убивающий – вопреки просьбам его товарищей, в том числе и Григория – командира офицерского отряда, Чернецова. Рубка эта страшнейшая: «Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвия шашек, с разрезанных ладоней лилась из рукава кровь; он кричал, как ребенок, – упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову» (1, 620).

Потом будет казацкий суд над самим Подтелковым. Но в гибели своей он будет показан в соответствии со стереотипами изображения большевиков в рапповской прозе 1920-х годов – с эшафота Подтелков выкрикивает героические призывы: «Темные вы... слепые! Слепцы вы! Заманули вас, офицеры, заставили кровных братьев убивать! ... Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова» (1, 736). Увидев в толпе Григория, Подтелков обличает его: «И нашим, и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!...» На что Григорий отвечает ему, «задыхаясь: – Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли. По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отпрыгивается!» (1, 735–736)

Первое появление красновардейцев на Донской земле вызывает у казаков однозначную реакцию: «Что ж они... разбойничают, а мы, стал быть, должны к ним идти? Что это за Красная гвардия? Баб сильничают, чужое грабят» (1, 686). Массовые расстрелы («Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных...» – 1, 666), «суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых... то обстоятельство, что бросили верхнедонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказа прост: обвинение, пара

вопросов, приговор – и под пулеметную очередь» (2, 136), бесчинные «контрибуции», а затем расстрел Мирона Коршунова, Авдея Бреха и других «зажиточных» казаков, арест едва оправившегося от тифа Пантелея Прокофьевича, преследования Григория как бывшего офицера, осмелившегося высказать сомнения в правоте политики красных; кровавые «подвиги» Кошевого, демагогия Штокмана и зверства комиссаров (история о комиссаре Малкине – 2, 234–235) – все это вынужденно скупые, но крайне выразительные детали не только «временного» красного террора, но и всей логики большевистской власти, основанной на классовом фашизме.

Однако, вряд ли можно утверждать, что «белые» или восставшие казаки изображены в «Тихом Доне» как большие гуманисты, чем «красные», или наоборот. Восставшие казаки, провозгласив лозунг «против грабежей и расстрелов», грабят своих же почем зря, а расстрелы заменяют тайной, подальше от глаз, рубкой пленных красноармейцев – апофеозом этой практики становится расправа над коммунистами Сердобского полка в хуторе Татарском, где Дарья самолично расстреливает Ивана Алексеевича, за что потом получает от белых медаль и пятьсот рублей. Ставший карателем в белых войсках Митька Коршунов вешает ни в чем не повинную мать Мишки Кошевого и убивает всю его семью. Григорий встречает возы добра, наворованные белым генералом, а сопровождающий воз Семак прибавляет: «Истинная правда, все так делают! Я ишо промежду других, как ягнок супротив волка; я легочко брал, а другие телешили людей прямо средь улицы, жидовок сильничали прямо напрапую!» (2, 570)

Перед нами взаимоподобные силы мира, сохранившегося с осей, потерявшего свои традиционные и природные основания. Первым ударом по этим основаниям стала мировая война, вторым – революция и гражданская война. И все попытки казаков вернуться к *природной* норме ни к чему не приводят. В этом смысл поражения Верхне-Донского восстания: казаки, возмущенные большевистским террором, пытаются отстоять свою независимость – не только от «большой» России, но главным образом от жестокой, разрушительной, истории. Но им не хватает сил, и они вынуждены примкнуть к одной из враждующих сторон. Все они втянуты в водоворот страшной, неуправляемой, катастрофической истории, и единственное, что они могут, это попытаться сохранить в себе человеческое, не стать окончательно зверем. Хотя и этот путь не только не спасает от трагедии, а скорее, делает ее неотвратимой – свидетельством тому судьба Григория Мелехова.

Неправомерно поэтому говорить о том, что в романе, как писали в советское время, показана «неизбежная победа нового в жизни», якобы определяемая принципом: «Только с народом или против народа, иного пути теперь не знает история» [Якименко 1957: 137–138]. Более точно звучит другая формула – из самого романа: «Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься» (1, 631). Если в «Тихом Доне» и изображается победа большевиков, то чисто физическая, но никак не нравственная, если

есть движение, то никак не в сторону улучшения – это смута без конца и начала.

Более того, о каком приходе к разрешающему конфликту итогу можно говорить, если в картине исторического процесса, создаваемой «Тихим Доном», происходит гибель абсолютно всех семей? Все родовые гнезда, показанные в первом романе – Мелеховых, Коршуновых, Моховых, Листницких, семья Шамилей и Аникушки – рушатся. А ведь понятие семьи, понятие гнезда, рода, родного очага, родины, природы – это понятия, на которых держится уклад казачьего бытия, это эпические символы гармонии мира. Особенно трагична история рода Мелеховых: в отступе гибнет Пантелеймон Прокофьевич, кончает с собой заразившаяся сифилисом Дарья, умирает от аборта Наталья, Ильинична умирает от горя и старости, шальная пуля убивает Аксинью... Но распад семьи начинается еще до гибели всех ее членов: «Семья распалась на глазах у Пантелея Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения... За общий стол сидели не так, как прежде – единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди. Война была всему этому причиной – Пантелей Прокофьевич это отлично понимал» (2, 510). Попыткой продолжения «родовой жизни» могла бы стать свадьба Дуняши и Мишки Кошевого. Но ведь он – убийца ее одного ее брата и гонитель другого, и Мишкин жестокий догматизм ничуть не слабеет после того, как он становится родней Григорию – вот почему в этой семейной паре нет никакого возвращения к прежней гармонии.

Григорий Мелехов как романтический герой

В самой концентрированной форме трагедийность истории, трагедийность мучительных исканий народом «правды-справедливости» выражена в характере и судьбе Григория Мелехова. Одни критики говорили, что в его судьбе показана трагедия человека, оторвавшегося от народа; другие – образ этого человека трагедия потому, что отражает роковые заблуждения некоторой части народа, третьи отмечали, что Григорий Мелехов – это жертва «левацких перегибов» советской власти. Все эти трактовки далеко не корректны.

Шолохов выбирает героя и со специфическим психофизиологическим складом. Он горяч и вспыльчив. Это человек с оголенными нервами. Такой типаж нужен автору, чтобы через него показать все муки и метания эпохи, весь спектр реакций на явления катастрофического времени. «Вольчья», «турецкая» стать Григория, «овнешненность» всех его переживаний в физическом действии, мимике, жестах, поступках (о чем подробно пишет С. Семенова) создают ощущение максимальной жизненной конкретности, наполненности образа, его плотскости. Но изломанная, грубоватая плоть эта открывает и определенный *духовный* облик человека, оказавшегося в ситуации колоссальных исторических катастроф, каждая из которых оставила свой след в его сердце.

В начале романа поражает необыкновенно нежная и чуткая натура Григория, еще молодого красивого парня. Как пишет В. Лавров: «уже на первых страницах романа происходит неназойливое, без нажима перста указующего выделение персонажа из язычески ярко, щедро, красочно написанной казачьей среды, целой галереи самобытных характеров. Иногда это всего лишь один, но значимый, содержательный эпитет. Так Аксинья Астахова сразу приметилась “черного ласкового парня”. Или, казалось бы, проходной эпизод: во время косьбы Мелехов случайно зарезал косою утенка: “Тригорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони”. Ни один из многочисленных персонажей романа не обладает подобной тонкостью чувствования, способностью к острой жалости, отзывчивостью. Не случайно у автора в разгар междоусобицы вырвутся такие проникновенные строки: “Знать, еще горела тихими трепетным светом та звездочка, под которой родился Григорий”. Этот тихий, трепетный свет звезды неминуемо сопряжется в сознании читателя с характером героя» [Лавров 1995: 197].

Эта эмоциональная чуткость, впрочем, мирно уживается с грубостью, а то и жестокостью. Недаром молодой Григорий грубо – со словами «Сучка не захочет – кобель не вскочит» (1, 73) – бросает любящую его Аксинью, когда возвращается из лагерей Степан Астахов, чем отдает любимую женщину под побои мужа. Он способен походя сломать женскую судьбу (хотя и совестно мучается после этого). Потрясенный первым убийством на войне, он постепенно привыкает к смерти и, ожесточаясь сердцем, становится героем – полным георгиевским кавалером и офицером, произведенным из нижних чинов.

Но именно Григорий пытается спасти несчастную Франю, когда ее насилюют всем эскадронам, а его скручивают родные братья-казаки: «На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь лежала Франя... Один из казаков, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся назад и побежал к дверям. – Ва-ахмистр! ... Его догнали у самых дверей, валя назад, зажали ему рот ладонью: “Вякнешь кому – истинный Христос, уьем!”» (1, 230). Григорий стреляет в Чубатого за то, что тот бессудно расправился с немецким пленным (1, 307–308). В Восточной Пруссии он спасает своего лютого врага Степана Астахова, вытаскивая его из окружения и уступая тому своего коня, хотя Степан и признается: «Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял» (1, 417).

Во время первого казачьего восстания он отказывается участвовать в грабежах и запрещает своим казакам, за что его снимают с командования сотни. Во время второго восстания он врывается в Вешенскую тюрьму и выпускает всех, арестованных повстанческим начальством («Иногородних всё жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков» – 2, 263). Узнав о сдаче Сердобского полка, Григорий (командир дивизии!) бросается на коня, думая: «Захватить бы живыми

Мишку, Ивана Алексеева... Дознаться, кто Петра убил... и выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить... Кровь легла промеж нас, но ить не чужие же мы?!» (2, 314) – последнее чувство, казалось бы, противоречит желанию узнать, кто именно убил Петра (о том, что в этом убийстве участвовал Мишка, Григорию и так известно), но именно желание спасти «не чужих» врагов от лютой смерти доминирует.

Таких примеров в романе множество. Все они свидетельствуют о том, как Григорий выламывается из той кровавой нормы, которая установилась за годы войн, как он руководствуется прежде всего сердечной отзывчивостью, своим личным пониманием «парвды-справедливости». Эти реакции неотделимы от еще одной важной характеристики Мелехова – его острого чувства собственного достоинства.

Неискоренимое чувство собственного достоинства срабатывает в нем в любой ситуации. Когда молодой первогодок Григорий служит в Польше, и к нему подскакивает вахмистр, чтобы ударить, тот спокойно ему отвечает: «...ежели когда ты вдарить меня – все одно убью!» (1, 234). И в четвертом томе, уже пройдя через все, но так и не научившись покорности, он почти теми же словами ответит генералу Фицхалаурову: «На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхалаурова, сбавил голос почти до шепота: – Ежли вы, ваше превосходительство, опробуете тронуть меня хоть пальцем, – зарублю на месте!» (2, 484), добавляя: «Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите... Вот как только переведут меня в сотенные командиры, тогда – пожалуйте. Но драться... – Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: – ...драться и тогда не дам!» (2, 486)

Сердечная реакция на бесчеловечность и чувство внутренней свободы определяют особую позицию Григория Мелехова в романе: он становится «лакмусовой бумажкой» истории.⁴ Он не только разумом, а всем своим психическим складом, всеми своими нервами резонирует на притяжение полярных полюсов истории, буквально «чувет» не политические, а человеческие преимущества и недостатки предлагаемых исторических маршрутов. Будучи натурой взрывной, он на любую идею реагирует поступком. И поступком своим он моментально вскрывает ошибочность очередного лозунга, очередной идеи, очередного варианта пути к свободе. Любую историческую несправедливость он пытается если не исправить, то хотя бы противостоять ей – и противостоять грубо, жестко.

Так, в 1917-м Григорий, чье достоинство и чувство справедливости оскорблены бессмысленностью страшной войны, – уже дослужившись до офицерского чина и идя вразрез с большинством казаков-одностаничников – примыкает к красным. Но он отшатывается от них после страшной расправы

Подтелкова над отрядом Чернецова. В выразительной сцене раненый Григорий падает навзничь, потрясенный жестокостью Подтелкова и большевиков. Разочаровавшись в попытках белых сохранить прежний социальный порядок, он отказывается идти в «отступ» от красных с большинством казаков. Вновь пережив страшное унижение, скрываясь от преследующих его большевиков (уже убивших его тестя, арестовавших отца), он убеждается еще раз в гибельности большевистской власти и с чувством счастливого освобождения становится одним из лидеров казацкого восстания против красных. Это один из редких моментов в романе, когда Григорий счастлив, когда его внутренняя свобода находит полную реализацию:

Он чувствовал такую, лютую огромную радость, такой прилив сил и решимости, что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях. (...) Тенью от тучи проклюнулись те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа, – как зафлаженный на облове волк, – в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь, – как в стенке, – а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству, – и все (2, 181–182).

Однако, когда повстанцы смыкаются с белыми, Григорий отчетливо видит тупиковость этого пути: «– Не хотят они понять того, что все старое рухнуло к едреной бабушке! – уже тише сказал Григорий. – Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаем. (...) А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогали?» (2, 478). Не последовав за отступающими белыми и геройски отслужив у красных, Григорий возвращается в родную станицу, чтобы, снова при первой «красной оккупации», стать объектом преследований, снова скрываться, и снова участвовать в восстании, с еще меньшей надеждой на успех. Однако, Григорий поступает так, как он поступает, потому что его движущая сила всегда одна – это внутренняя свобода, мука от необходимости ломать себя, живя не по совести; неспособность слепо следовать командам, в правоту которых он не верит.

Вот почему Мелехов, как подлинно романский – а не эпический! – герой, по определению М.М. Бахтина, «или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» [Бахтин 1975: 479].

⁴ Вот как определяет характер этого героя Мирослав Заградка: «Григорий Мелехов – это сильная, внутренне богатая личность, барометр все изменяющейся корреляции исторической сознательности и стихийности, человечности и бесчеловечности» [Заградка 1975: 225].

Григорий меньше своей человечности, когда пытается ломать себя, примиряясь с тем, с чем не в ладу его совесть. В эти моменты автор фиксирует его ожесточение. Так происходит в Первую мировую:

Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым – четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, оваянного пороховым дымом многих войн; но знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства (1, 418).

Так и во время казачьего восстания – Григорий признается: «Я так об чужую кровь измалось, что у меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву – и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал... В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе...» (2, 279) И еще позднее: «Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и наконец мысленно махнул рукой: “С Советской властью нас зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы ей пустили, а кадетская власть зараз гладит, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!”» (2, 341).

Григорий становится «больше своей судьбы», когда следуя своей свободе – стержню своей человечности – открыто отказывается принимать террор и унижение, и за то обрекаем на судьбу «врага», «беглого», «бандита»... Его «избыток человечности» (говоря словами Бахтина) постоянно присутствует и в те моменты, когда Григорий, казалось бы, в силе и славе. Этот «избыток» подтачивает героя мучительными сомнениями и вопросами, которые другие успешно от себя гонят.

Именно эти сомнения приводят Григория к *кризисам*, когда он более не в силах вынести своей «судьбы», какой бы лихой и успешной она ни казалась. Один из ярчайших примеров такого кризиса – припадок, который охватывает Мелехова после того, как, спасая свою жизнь, он яростно рубит красных матросов:

Но Григорий кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с искаженным лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий – как стоял, так и рухнул ничком оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:

– Кого же рубил!.. – И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, закружившейся на губах: – Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!.. (2, 260).

Таких кризисов в романе несколько – это и первое ранение на «германской» (не зря родные получают весточку о смерти Гришки), и потрясение от расстрела Подтелковым «чернецовцев», и «кизячное» сидение, когда в первый раз красные объявляют его врагом, и послетифозное просветление, и тяжелый запой во время второго Верхне-Донского восстания... Во все эти моменты Григорий заново открывает для себя природу, его с особой остротой тянет к крестьянскому труду, он переполнен нежностью к своим детям. Но главное – именно в эти моменты в нем с новой силой просыпается любовь к Аксинье.

Именно Аксинья, с ее грешной красотой, яростной сексуальностью, с ее острым чувством собственного достоинства и безоглядной готовностью идти за Гришкой хоть на край света, становится для Мелехова синонимом свободы, и любовь к ней неизменно равняется его «избытку человечности». Хотя Григорий вместе с Аксиньей только в начале романа, когда он еще не знает своей «судьбы», и ближе к концу повествования, когда он уже все пережил и все повидал, тяга к ней проходит через все его испытания и кризисы. Так, после первого ранения и «перерождения» в лечебнице Снегирева, Григорию в окопах «кажется, что он на секунду ощутил дурнопахнущий тончайший аромат Аксиньиных волос; он весь изогнувшись, раздувает ноздри, но ... нет! это волнующий запах слежалой листвы» (1, 41). А ведь они не так давно расстались врагами: узнав о связи Аксиньи с Листницким, Григорий даже ударил ее кнутом. Во время первого казачьего восстания, разьедаемый мыслью «Некуда податься!» (2, 89), одновременно испытывает мучительную ревность к Степану, к которому вернулась Аксинья (2, 86). И вскоре после того, как Мелехов делится с Иваном Алксеичем и Кошевым своими сомнениями в «красной правде», ему снится сон, в котором «он ходил с Аксиньей по высокому шуршащим хлебам... Он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон» (2, 152). Во время горького запоя в пору второго Верхне-Донского восстания, «Григорий в мыслях, спутанных, как сетная дель, ворошил пережитое, натыкался в этой ушедшей куда-то в невозвратное жизни на Аксинью, думал: “Любушка! Незабудня!” – и брезгливо отодвигался от спавшей рядом с ним женщины...» (2, 255) Не случайно Григорий вновь сходится с Аксиньей, когда окончательно разочаровывается в идее казачьей автономии и когда повстанческая армия сначала поглощается белой армией, а затем и отступает вместе с ней. Наконец, к Аксинье он возвращается в финале романа, когда проваливается его искренняя попытка принять советскую власть – несмотря на все его заслуги, он для красных все равно остается врагом.

Вообще метания Григория между преданной, верной и страдающей Натальей и независимой, сильной Аксиньей в известной степени симметричны драматизму его романного существования: он рядом с Натальей, когда старается совпасть со своей судьбой, и его с новой силой тянет к Аксинье, когда судьбу пересиливает «избыток человечности». Трагическая смерть Натальи, по существу, погубившей себя из-за того, что Григорий опять сошелся с Аксиньей; как и не менее трагическая гибель Аксиньи, умирающей от шальной пули в тот момент, когда она, наконец, окончательно соединила свою жизнь с Григорием, – зримо воплощают трагедию самого Григория, которому катастрофическая история не оставляет *ни одного* пути самореализации.

Однако, «черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» (2, 854), которые видит над своей головой похоронивший Аксинью Григорий – переводят эту коллизию на иной, философский, уровень. Это картина *свершившегося Апокалипсиса*, рифмующаяся с апокалиптическими пророчествами, звучавшими в романе и во время Первой мировой («И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы» – 1, 454), и во время гражданской – в речах деда Гришаки, читающего Григорию из Библии («Поругана бысть мате ваше зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста, и непроходна, и суха. От гнева господня не проживут вовек, но будет весь в запустение, и всяк ходяй сквозе Вавилон подивится и позвиждет над всякою язвою его» – 2, 276). Если на протяжении всего романа природная жизнь сопровождала героев, то резонируя, то контрастируя с их поступками и переживаниями, то в финале романа перед нами – смерть символа трансцендентной высоты – неба и неиссякаемого источника жизни – солнца. Возможность прежней, фундаментальной для казачьего мира, гармонии с природой разрушена окончательно – она, эта гармония, убита стихией взаимного насилия, приведшего не только к социальной катастрофе, но и взорвавшего *мироустройство*.

Безусловно, такой финал романа подготовлен той философской логикой казачьей жизни, которая

разворачивается в первой книге «Тихого Дона». Это, может быть, самая безнадежная и самая трагическая оценка смысла произошедшей революции во всей русской литературе XX века. После нее, финальная сцена, в которой Григорий возвращается к Мишатке, выглядит как ритуальная уступка эпической логике «родовой жизни», на самом деле, уже лишенной каких бы то ни было прочных оснований.

В этом смысле «Тихий Дон» радикально отличается как социалистического реализма с его оценкой свершившегося как позитивного шага в «светлое будущее», так и от позднейших «ретроутопий» 1960–70-х, мечтающих о возвращении в традиционное общество. «Тихий Дон» на примере трагедии казачьего мира рисует апокалипсис традиционного уклада не как «прогрессивное», а как чудовищно-страшное, кровавое, рушащее человеческие судьбы, но и *бесповоротное* событие.

ЛИТЕРАТУРА

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975.

Ермолаев Г. Шолохов: Жизнь и творчество // Шолохов и русское зарубежье / под ред. В. В. Васильева. – М.: Алгоритм, 2003.

Заградка М. Мотивы войны в композиции мирных глав «Тихого Дона» // Творчество М. А. Шолохова. – М., 1975. С. 225.

Илюкович А. Согласно завещанию: Заметки о лауреатах Нобелевской премии по литературе. – М., 1992.

Лавров В. Голгофа Григория Мелехова // Нева. – 1995. – № 5. – С. 197.

Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. – М.: НЛЮ, 2003.

Осипов В. Тайная жизнь Михаила Шолохова: документальная хроника без легенд. – М., 1995.

Семенова С. Г. Мир прозы Михаила Шолохова. – М.: ИМЛИ РАН, 2005.

Тамарченко Е. Идея правды в «Тихом Доне» // Новый мир. 1990. № 6. С. 240.

Толстой Л. Н. Письмо М. П. Погодину, 1868 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. – М.: Худож. лит., 1964. Т. 18.

Фельзен Ю. Мих. Шолохов. Тихий Дон // Числа (Париж). 1930. № 1. С. 239.

Данные об авторах:

Наум Лазаревич Лейдерман – заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой современной русской литературы, основатель и первый главный редактор журнала «Филологический класс».

Марк Наумович Липовецкий – доктор филологических наук, профессор Университета штата Колорадо (США).

Адрес: University of Colorado, McKenna 216, 276 UCB, Boulder, CO 80309.

E-mail: mark.leiderman@colorado.edu

About the authors:

Naum Lazarevich Leiderman is a Honored Scientist of Russian Federation, Doctor of Philology, Professor, Head of the Modern Russian Literature, the founder and first chief editor of the journal “Philological class”.

Mark Naumovich Lipovetsky is a Doctor of Philology, Professor of University of Colorado at Boulder (USA).